

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
К84

*Дизайн – Александр Архутик*

**Крупник И. Н.**

К84      **Время жалеть: Сочинения разных лет.** — М.:, Этерна, 2010. — 400 с.

ISBN 978-5-480-00238-6

В новый сборник Ильи Крупника вошли повести и рассказы, написанные в разное время и по-разному (самые поздние в 2007–2010 годах). Одни реалистичны, в других реальность переплетается с фантазмагорией, в третьих — осязаемы антиутопия и притча.

Это, казалось бы, странный мир, иногда почти сюрреальный, но совершенно зримый, насыщенный небанальными, точными деталями.

А в сущности, это наш с вами парадоксальный мир, в котором мы жили и живем. Сочинения Крупника очень человечны в отличие от преобладающей сегодня холодной аналитичности. Читатель, сам того не замечая, становится собеседником автора и его героев с их чувствами, переживаниями, взлетами и падениями, психологией и метафизикой.

**УДК 821.161.1**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

© И. Н. Крупник, 2010  
© ООО «Издательство «Этерна»,  
оформление, 2010

ISBN 978-5-480-00238-6

ГОРОД ДЕЛФТ

1.

Дом был двухэтажный длинный, голубого, пожалуй, цвета, но потускнел, облупился, в белых пятнах, а внизу под окнами выглядывали даже кирпичи. Ко всему он был (стал?) косою, явно сползал в тротуар справа налево, и два последних левых окна глядели на меня точно из подвала.

Адрес такого вот дома, где сдавалась комната, подсказал студент семинара, который я вел на истфаке как аспирант, замещая больного профессора. Однако для меня, человека здесь недавно живущего, даже этакая крыша над головой была удачей. Город был областной, но в марте случилось землетрясение, и оставались еще развалины.

Входная дверь оказалась сразу у окон «из подвала», над ней старая табличка «Дом подключен к Интернету». Но тут же заметил я, что дверь заколочена загнутыми гвоздями. Возможно, надо идти со двора.

Рядом высокая арка. Вошел во двор, заросший сорной травой. Но вот и черный ход, в тамбуре лестница на второй этаж, и я ощупью — внизу в коридоре у них хоть глаза выколи (лампочки где?!) — пошел вперед мимо закрытых с обеих сторон квартир.

Я шел, скрипели подо мной пологие доски пола, идти, как он сказал, до самого конца. Но люди где? Все на работе?.. Дошел наконец, кажется; постучал и потянул за дверную ручку.

На пороге комнаты стоял чернявый щупленький мальчик лет шестнадцати, смотрел на меня исподлобья.

— Я Павел Викентьевич,— пояснил я, улыбаясь дружелюбно,— из университета. Здравствуйте. Дома хозяин?

— Я хозяин,— не улыбаясь сказал мальчик, очень внимательно меня разглядывая черными, выпуклыми глазами.— Я Георгий,— отчетливо, на равных, объяснил он мне.

Вот такое и было наше знакомство с Гариком. Как он рассказал потом, четыре месяца жил он один, мать похоронили, отец исчез неизвестно куда, сам он учился в технологическом колледже, но жить-то надо на что-то, да и плохо одному.

Комната была для меня с отдельным ходом, а окно в тротуар. К окну вдоль стенки тахта широкая. В другом углу стол письменный с телефоном, платяной шкаф, не доходя до Гариковой двери. Даже ковер, картины. Родителей явно комната.

— Великолепно,— сказал я Гарику.— Просто великолепно! Будем жить.

2.

Мой семинар был раз в неделю, его тема — о Смутном времени XVII века. Одним из самых ранних конкретных источников, какие рекомендовал я студентам, были даже, к примеру, «Краткие известия о Московии» Исаака

Массы, голландского купца, который оказался именно в тот период в наших краях.

Но студенты мои, честно говоря, не очень-то меня почитали и слушали. За глаза, это хорошо я знаю, называли меня просто Павлушей, девчонки кокетничали. Да ведь и был я не очень намного их старше, к тому же собственные мои имя и отчество всегда не нравились мне самому.

Ну вот вы представьте: Павел Викентьевич. Явно в очочках, если уже не в пенсне, нос острый, лицо узкое, губы ниточкой, пиджачок и галстук. В общем, сухарь явный и во всем педант. А Павлуша?.. Это действительно я. Нос мой курносый, лицо, в общем, блином, и рыжеватый, и веснушки мои... Короче, увы, Павлуша. Да еще улыбаюсь не к месту, а вот это беда, собственным мыслям.

Вчера, например, завкафедрой — дама величественная, прямо Екатерина Вторая, но вся седая и въедливая, отчитывала меня, что на семинар ко мне в четверг пришел только один человек. А я, не склонив даже повинную голову, ей улыбнулся не к месту, ибо этот человек был Гарик, о чем не доложили, слава Богу.

Потому что Гарик все норовил теперь почаще быть со мною и звал меня «дядя Павлуша». Да и сам я привязался к нему. Родители, мама и отчим, далеко, в этом городе знакомых у меня не было, на кафедре всем чужой, а тут единственная родная душа рядом, кому нужен дядя Павлуша.

Я рассказывал ему, словно студентам, самые любопытные, как представлялось мне, события XVII века из Клю-

чевского, а он мне о каких-то новых жильцах, поселившихся в доме, и о том, что в городе сейчас происходит, о разных слухах. Он узнавал обо всем из Интернета.

Той ночью я проснулся от непонятного звука: что-то двигалось издали прямо на меня, на мою тахту, приближалось с гулом и грохотом. Тахта моя закачалась, и под ней, под полом вдруг прокатился в вихре, будто в туннеле, поезд.

— Дядя, дядя Павлуша!..— Гарик, едва не падая, вбежал ко мне из своей комнаты. Он сидел уже рядом, обнимая меня, он весь дрожал.— Это не поезд, не поезд, дядя Павлуша!

— Да, конечно, откуда под нами поезд. Землетрясение.

— Но, дядя Павлуша, оно совсем, вообще не такое было!

3.

Когда утром я вышел во двор, вокруг домов не было.

Наш угловой двухэтажный стоял, как прежде, не хватало только дворовой решетки, а вместо самого переулка — обширнейшее пространство с железными там, то тут скелетами этажей и кирпичными грудями. Такое я видел только в кино о войне.

— Я говорил тебе, говорил,— тербил меня Гарик, мы шли с ним в центр что-нибудь выяснить, расспросить,— говорил тебе, что вместо наших жильцов поселились у нас какие-то, может, они из другого места, где хуже, какие-то люди...

Мы шли, а город был почти пустой, прохожие попадались так редко и скрывались тут же вдалеке. Ближе к центру, правда, особых разрушений не было. Но нигде никаких призывов городских властей, объяснений, предупреждений, объявлений на щитах, вместо реклам, я все искал, вертел головой, но не увидел ничего.

— Гарик.— Я остановился.— Узнать бы, как там мой профессор на даче. Я навещал его три дня назад больного. А телефон теперь не отвечает и Интернет у него не работает.

К этой северной окраине города (собственно говоря, это был уже пригород) почти вплотную подходил хвойный лес. Прерывался большой поляной, а дальше снова лес, дачный поселок. Там и жил мой профессор на даче, Буразов Николай Дмитриевич.

Когда мы с Гариком подошли к поляне, перед ней оказалась высокая очень ограда в обе стороны из колючей проволоки сплошную. Открылась дверца будки — ни ограды, ни будки не было три дня назад,— вышли два охранника в камуфляже.

— Назад! — приказал, разглядывая нас и подходя все ближе, первый с опухшим красным лицом.— Кто такие? Что, не знаете распоряжения?! За город хода нет.

— Это какое,— я спросил,— мы не знали ничего, распоряжение?

Не отвечая, он ухмыльнулся и сплюнул, и оба они, не торопясь, повернули от нас к будке.

— Дядя Павлуша,— зашептал Гарик,— давай пойдём тихо назад через лес.— Черные глаза его прямо-таки сияли: приключение! — А где-нибудь дальше попробуем. Мы пролезем, дядя Павлуша, мы пролезем!

«Пролезем...— подумал я.— Небось, за поляной тоже наблюдают. Или нет?.. И будка не одна, наверное. Ну...»

— Эх, была не была! — я сказал.— Идем. И старик там как... Пошли.

Мы тихонько кралась между деревьями и, точно, под проволокой вот был лаз. Кусты почти вплотную подходили к ограде, а за ней тоже были кусты, так что не углядеть охране. Кто-то подкопал яму. Лежала рядом широкая доска, чтобы поднимать нижние ряды проволоки, а сама яма устлана была газетами.

Это очень было удачное место: за проволокой тоже кусты и почти разрушенные сараи без крыш и без дверей. Прямо за ними можно неприметно обогнуть поляну, уйти в лес.

4.

— Что? — переспросил профессор.— Куда уезжаю? В Женеву, на конференцию.

Я стоял у двери, смотрел на него во все глаза.

Мой старик, седой, редковолосый, в голубых молодежных джинсах, в мохнатой безрукавке, в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, складывал аккуратно в распахну-

тый на столе чемодан что-то плоское в целлофане, клеенчатые папки, перекладывал, надавливал, чтоб поместилось.

Это был никакой не старик! Крепкий, быстрый, хотя ему ведь стукнуло уже шестьдесят! Ведь уже стукнуло! Да и болен он был, и, правда, ходить не мог.

— Это чудо,— словно отвечая мне, он повернулся к нам, Гарик уже выглядывал у меня из-за спины.— Это чудо! Помог комплекс в конце концов, замечательное это лекарство. Суставы не болят, тьфу-тьфу.

— Ох, от души! — сказал я.— Слава Богу.

Ведь еще только три дня назад действительно несчастный, он полулежал, но не в кресле, а на стуле с подушкой, так легче, запахнув халат, вытянув больные ноги, старый-старый, бедный мой старик.

— Ну что ж, ребята дорогие, что ж,— печально сказал профессор Николай Дмитриевич,— будем прощаться. За мной заедут. Получается, могу как-то ходить, но, если честно, еще не очень ловко себя чувствую, а вдруг опять, нет, тьфу-тьфу. Отсюда раньше, вы ж знаете, Павел, в город пешком, моя прогулка, каждый день, сколько сил прибавляет. Но... Павел, телефон у меня отключили, в ближайшее время меня уволят, это абсолютно ясно, благо предлог — на пенсию. Но отсюда сейчас в город и хода нет. Здесь уже всем объявили. Но это лишь начало, не то еще будет. Стоп, погодите, а как же вы, Павел? Павел, у вас с собой документы, паспорт, еще что, заграничный?

— Теперь я, Николай Дмитриевич, все документы с собой ношу.

— И у меня паспорт,— выступил вперед Гарик.— И меня возьмите, возьмите меня отсюда! Как племянника, может...

5.

В город назад через лес мы шли молча. Гарик шел позади, а я, как виноватый (по его, мальчишки, представлениям), сам, мол, должен теперь отыскивать лаз, хотя я никак не чувствовал себя виноватым, что отказался с профессором ехать. При этом он говорил, что можно быстро сейчас уладить все формальности. Понятно, что и у «племянника» завлекательная поездка также лопнула.

Но только зачем, для чего мне ехать?..

Профессор мог преподавать что угодно, нашу, античную, даже чуть ли не историю европейских костюмов. И знал профессор четыре языка.

А я... Для меня в жизни другого ничего не было. Ну как сказать мне проще, ведь никакая это не патетика,— не было другого, я чувствую так, не было, кроме моего призвания. Это правда, это моя жизнь.

— Да они ж балбесы,— мне выдавал, когда вышли из дачного поселка, Гарик,— им не нужно ничего, они не ходят на твои семинары любимые, ничего им знать не обязательно, им все равно!..

Я не отвечал. Потому что все это неправда, всегда, во все времена существуют серьезные люди, да кто этого не знает! Их просто меньше, как всем известно. И вот то, что я могу, куда важнее здесь, чем там.

Мы уже прошли наконец позади сараев, но где лаз, было непонятно. Там, за проволокой, из гущи почти вплотную стоящих деревьев прорывался лишь цокот белки.

— Я проверю,— сказал Гарик. Он стал на четвереньки и пополз в кусты.— Его здесь нет, и здесь, и здесь нет. А вот он! Я лезу первым, а ты подожди немного.

Я сидел на примятых кустах и ждал.

И вдруг услышал. Закричал Гарик, его ударили явно и начали избивать!.. А потом этот человек — похоже, он был один — потащил Гарика куда-то вправо, совсем не к будке.

Не помня себя, я торопливо пролез и пошел тоже в ту сторону, словно иду я от города, вдоль ограды.

— Не видели мальчика? Мальчика? Он тут баловался просто. Мальчик...

— Какой еще мальчик? — Загораживал мне проход худой, с рыжими усиками человек в камуфляже и с автоматом.— Никого тут не было. Мальчика? Никакого.

6.

Ночью я вставал и подходил к двери в комнату Гарика. Прислушивался. Потом тихонько приоткрывал дверь.

Все это время, когда просыпался постоянно, было явное ощущение, что Гарик у себя спит, что я не один в квартире.

Я стоял у двери и смотрел в темноту. Слушал. Дыхания спящего не было.

Не было, не было, не было.

Сколько я ходил повсюду, узнавал везде,— о нем никто не знал ничего. Никто. Но он ведь был, я же не Клим Самгин. Гарик. Был!..

В комнате так сыро, в углу со стены отклеился кусочек обоев и свисал, под ногами у меня под линолеумом кое-где вспучились половицы. Надо было открыть окно. Но узенький этот тротуар совсем близко, там лежали слоями мокрые листья. Ночью, когда уснул все ж таки, шел, наверное, сильный дождь. Листья эти от двух тополей, которых тоже больше не было, их вырванные с корнем в ту ночь стволы, голые, так вот и лежат, и за окном одна пустота, там, где прежде были трехэтажные дома.

Потом за моим прямо-таки подвальным маленьким окном начали проходить мимо нижние половинки людей, а те, кто меньше ростом, до плеч и без головы. Люди шли по мягким от дождя листьям бесшумно, и ноги у всех были в голубых бахилах. Тех самых тонких, из целлофана, что натягиваешь на ботинки, когдаходишь в поликлинику или больницу. Но такого ничего близко не было, а они все шли и все в голубых бахилах. Куда шли эти люди? Больные они?..

У студентов моих экзамены кончились, каникулы наступили, и в университете я не появлялся. И я больше не

в состоянии был смотреть в окно, а эти еще, нагибаясь, все заглядывали иногда в комнату.

Я снял со стены висячий календарь, который за границей, наверно, купил отец Гарика: очень большой, продолговатый, где на каждом листе обозначался месяц, а когда проходил месяц, лист переворачивался вверх, вдевался в дырочку на гвоздь. На продолговатых листах были квадратные репродукции картин.

Я достал молоток, прибил наверху к оконной раме тоже тонкий гвоздь и завесил окно календарем. Теперь вместо половинок да безголовых людей и пустоты проклятой передо мной был всегда удивительный вид на город Делфт XVII века.

Но когда я проходил по длинному нашему коридору на улицу, из закрытых квартир с обеих сторон приоткрывались двери и высовывались какие-то странные лица. Я здоровался в обе стороны, только они не отвечали и двери сразу захлопывали.

И все же я встречал их иногда в коридоре и сумел наконец лучше разглядеть. Одного, к примеру, я обозначил как «человек-затылок».

Он был высоченного роста, плоский, стриженный коротко, узенький лоб, длинная шея. И я, когда видел неподвижное его и точно вовсе безглазое лицо, как-то тут же представлял, что это не лицо, а длинный, коротко остриженный затылок.

Девушка симпатичная с челкой, нагнув голову, проскальзывала молча мимо меня. Но когда я встретил ее не в первый раз — жила она тут или просто приходила часто? — то разглядел, что лицо у нее тоже не совсем обычное, а такое оно словно угловатое: скулы, надбровья, подбородок. Но так ли это или нет?.. Да что со мной?! Они такие вот или я их теперь так вижу? Нехорошо. Честное слово, нехорошо.

Единственный, кто в коридоре здоровался, улыбаясь печально почему-то с пониманием, был низенький, худенький, словно подросток, но с бородкой пожилой человек.

И именно он как-то под вечер деликатно постучал в мою дверь.

7.

Был он, оказывается, последний старожил в этом доме.

— А эти пришлые,— он тут же перешел на шепот,— вы даже не представляете, что с ними делали! Что они пережили, и потому они всего боятся. И притом у каждого,— шептал он уже мне чуть не в ухо,— своя фантазия о том, что произошло. Они мне рассказывали по секрету. Из 5-ой квартиры, например, очень начитанный он человек, предположил, что, как видно, в действительности существует некто вроде Гулливера, огромный, а мы, как лилипуты, и это он всем завладел, всем городом, окружил колючей оградой, и это он просунул свой кулак под нами, как поезд, а не землетрясение.

— А? — Александр Паисьевич, отодвинувшись наконец от моего уха, смотрел на меня, прищурясь иронически-вопросительно.— Как вы думаете?

— Да сумасшедший, конечно,— определил я.

Александр Паисьевич неопределенно пожевал губами.

Он сидел на стуле передо мной худенький, всезнающий, с остренькой бородкой, в аккуратном пиджачке и старомодном галстуке. Нижняя губа у него над бородкой, по-молодому розовая, была оттопырена. «От многоречивости»,— подумал я.

— А все другие,— продолжал Александр Паисьевич,— полагают, как вы понимаете, просто банально: это, мол, друзья наши зачатые заокеанские или из космоса, что вообще уже все глупо.

— Ну ладно,— сказал я,— они сумасшедшие, пострадавшие, и мне, честно говоря, их очень жалко. А вот что вы думаете обо всем, что происходит сейчас? Ваше мнение?

— М-мм,— уклончиво протянул Александр Паисьевич и тронул, потерев губы, свою бородку.— Видите ли, я знаю, что плохо, очень плохо, а абсолютно однозначно говорить о конкретностях...— Он замолчал, пожевал уклончиво губами и посмотрел на окно.

«Бойтся». Я с досадой тоже оглянулся на окно.

Но там по-прежнему сиял великолепно город Делфт XVII века. Когда я обратился снова к Александру Паисьевичу, его в комнате уже не было.

8.

Пожалуй, первый признак, что осень все ж таки наступает, что она не за горами, была шумящая вода в радиаторе отопления. То есть, как обычно, отопление проверяли заранее. Я ведь и платил вместо Гарика по его квитанциям за квартиру и за все прочее. И эта вот обычная проверка отопления, вопреки всей непонятной тревоге в городе, и было сейчас странным. Но в комнате у меня тепло стало, и успокаивало.

Однако ненадолго. От тепла начало где-то что-то поскрипывать, трескалось, особенно слышно было, конечно, ночью, если не спишь. Но это трескались, понятно, обои потихоньку, половицы поскрипывали у входа, где не был поклеен почему-то линолеум. А все равно, сколько ни уговаривал себя, но было такое ощущение, что кто-то ходит там.

Я положил на голову подушку и наконец уснул. И вот тут-то произошло страшное. Я увидел очень ясно, словно вовсе это был не сон, как под дверь в щелочку медленно просовывается листочек бумажки. Он был у меня уже в руках, и на нем бледными буквами было написано карандашом: «Я, дядя, ушел искать папу».

В эту ночь я оделся и вышел в город.

Было совсем еще не поздно, но пусто так. Не светились повсюду окна, а от редких фонарей казалось еще пустынной, и за фонарями, ближе к темным домам, была особенная тьма.

Я шел посреди мостовой, и звуки моих шагов слышны были наверняка на длинный, длинный квартал. Паисевич мне говорил, что на улицах и днем сейчас опасно. Но мне было все равно.

Родного своего отца Викентия я, презирая, не искал никогда: он маму мою бросил, когда мне еще не исполнилось и полутора лет, а отчим у меня был такой по-доброму привязчивый человек.

Я все шел, «дядя», по пустому городу. На что надеялся?..

И все равно каждый раз поздним вечером, когда не спал, я выходил в город. Один раз мне даже показалось, что маленькая фигурка вышла из-за угла, но, меня заметив, тут же спряталась.

– Пстой! – крикнул я. – Пстой! – И побежал туда.

Куда?.. Я огляделся. Мне просто показалось.

9.

А утром в среду я проснулся довольно поздно от какой-то возни и шорохов в коридоре. Натянув торопливо штаны и футболку, я выглянул.

Там стояла соседка, старушка из дальней 7-ой квартиры, что куда ближе от меня к выходу, востренькая такая, очки на цепочке и ростом мне по грудь. У ног ее на полу чемодан, пакеты в целлофане. Она пыталась явно, скреблась открыть тамбур – дверь его под прямым углом к стенке моей комнаты.



— Доброе утро,— сказал я.— В чем дело?

— Тут нет дверной ручки,— объяснила мне старушка,— а я хочу выйти через него на второй этаж и оттуда уже во двор.

Надо сказать, что тамбур этот когда-то был просто прихожей заколоченной парадной двери и, естественно, там парадная лестница наверх. Но для родителей Гарика он явно служил тем же, что для верхних жильцов чердак, переполнен был вообще непонятно чем.

— Хорошо,— сказал я.— Сейчас открою.— И пошел, ничего не понимая, взять столовый нож, просунул лезвие его в щель и открыл дверь.— Ну хорошо,— повторил я,— а почему отсюда?

— Вы что, не знаете ничего, да? Паисьевич утром пошел в киоск, верно, за газетой, а его нашли убитым!

— Его?! Кто? За что?

— Говорлив слишком, значит,— пояснила соседка, озираясь.— Вы что, не видали разве — ходят кучкой неизвестно какие, но не милиция, даже не бандиты, они переодетые. А в доме сейчас уже все выбрались, убежали сразу, пока следователи не явились, чтоб не припутали их.— Подхватив чемодан и свои пакеты, она пролезла мимо торчащих ножек ломаных стульев, начала быстро подниматься по лестнице вверх.

Квартира Александра Паисьевича была тоже ближе к обычному выходу во двор, но мне-то зачем, мысля все же таки здорово, убежать отсюда, как заяц, через второй этаж.

Когда я умылся и оделся, я просто пошел по коридору завтракать, как всегда, в университетскую студенческую столовую.

— Молодой человек.— Двери Паисьевича приоткрылись, и меня пальцем поманили в его квартиру.

10.

— Нет, нет, не сюда.— И незнакомый этот (вероятно, следователь) завернул меня сразу направо в кухню.

Кухня Александра Паисьевича, одинокого старичка, блистала, к моему удивлению, непривычной чистотой. Разве что конкретно, что тут стояло не могу сказать, так как внимание мое тогда, понятно, было на двух людях в кухне.

Тот, кто поманил меня,— высокий, грузный, лет сорока, в летней военной рубашке без погон и отличий, с тяжелым полковничьим лицом (но наверняка куда пониже чином) и совсем неподходящим под его комплекцию тонким голосом (именно поэтому я решил, что он никак не полковник). А вот улыбка его...

Он улыбался мне, подвигая к кухонному столу табурет.

— Садитесь, садитесь.— Но когда улыбался, глаза не щурились, а губы раздвигались не вширь, а как бы складывались бантиком, иначе как-то и не скажешь. Мне, например, никогда не приходилось видеть, как улыбаются большие крысы, но, по-моему, именно так. Крысиная улыбка.

Кроме него сидела у стола та самая скуластая девушка с челкой, которую я несколько раз встречал в коридоре.

— Вам знаком? — Повернулся к ней следователь. Сам он стоял, опираясь руками о спинку единственного в кухне стула.

— Только по коридору,— сухо заметила девушка.

— А как вы думаете,— продолжал он,— может быть, они бывали где-нибудь вместе. Не встречались вам?

Девушка пристально смотрела на меня.

— Нет, по-моему. Нет.

«Фу ты,— подумал я,— это ведь уже допрос».

— Что вы от меня хотите? — Я встал.— Я уйду сейчас, если официально не объясните и не покажете документы, что право имеете меня допрашивать.

— Да что вы, что вы, никакой это не допрос, да просто посидите, послушайте, просто посидите с нами,— крысино заулыбался он. И опустил грузно на стул.

— Итак, Милица Борисовна,— он обратился к девушке,— мне все же непонятно, как вы, культурный человек, сотрудник музея, ходите сюда, в эту квартиру мыть пол, убираться, обед готовить. Или вам зарплаты совсем не хватает?

«Ого,— подумал я,— это, оказывается, ее допрашивают».

— Вам нужно повторять в третий раз,— с досадой сказала девушка и даже раздраженно пристукнула кулаком.— Повторить снова? Я родственница его покойной жены,

и платы я, разумеется, никакой не беру. Больной, одинокий старик. Это что, вообще не понятно?

— Нет, представьте не очень.— Откинулся он на стуле.— Ну, ладно.— Выпрямился и взял со стола бумаги.— Вот вам заполненный бланк, распишитесь внизу о вашей подписке о невыезде. А вы, Павел Викентьевич, пока свободны. («Он что, вероятно, обо мне все знает?») Свободны пока. Пока. До свидания.

11.

На первый семинар мой после каникул явились все. Даже непривычно было, что много так в семинаре народу.

Но они сидели тихие, совсем не как всегда, слушали, записывали. Потому я решил, что пора, пожалуй, дать им задания для докладов, предложить темы. И еще я хотел поговорить с деканом, я ведь аспирант, а профессор уехал,— кто будет теперь моим руководителем?

Но ей было явно не до меня: — Потом, потом.— Что-то ее беспокоило, вовсе не мои аспирантские дела. И кафедру после каникул она не собирала ни в первые дни, ни через неделю.

А у меня дома в комнате вдруг ожил всегда молчавший телефон — мне-то некому было в городе звонить. А тут все почему-то звонили, не туда попадая, извинялись или не извинялись. И, в конце концов, выдал мне телефон вот что:

— Добрый день,— сказал приятный мужской голос.— Вы давно не были в нашей 4-ой зубоврачебной поликлинике. А мы могли бы вам сейчас помочь.

Это вот было уже чересчур.

— Большое, большое вам спасибо,— сказал я, стараясь быть так же точно очень приятным.— Но у меня все зубы вставные.— И даже лязгнул для подтверждения здоровыми своими зубами.

Черт знает что. Я вышел во двор. Солнце сияло, словно все это еще лето. И на бревне среди пожухлой травы, жмурясь от солнца, сидела... как ее? Ну и имечко, Милица Борисовна и курила, отводя то и дело рукой челку со лба. Джинсы на ней были сильно потерты и желтая на ней футболка.

— Здравствуйте,— сказал я вежливее, как можно.— Что ж это вы не в музее?

— Уволили, знаете.— Она выдохнула вверх струю дыма.— Сижу теперь на воле. Тепло, не правда ли?

— Н-да,— сказал я.— Тепло.— Думая, как бы это поприветней распрощаться.

— Да вы не сочувствуйте, не надо. Музей все равно закрыли. Всех и уволили.

— Это как?..

— Да так.— И протянула мне: — Курите? — пачку сигарет.

— Нет, спасибо. Бросил.

— Новая жизнь началась,— продолжала она, скривившись.— Вы, по-моему, не на Луне живете. Все будет по-дру-

гому. Только неизвестно никому, кто все-таки над нами, ничего ж не объявляют, не объясняют. Кто все это делает? Я вот хотела в библиотеку, что ли, устроиться, да и там что-то неладно.

— Ну это не везде вовсе, у нас в университете...

— В университете? — повторила она насмешливо.— Что ж, желаю вам самого доброго.

И ушел я от нее, просто как оплеванный. Черт меня дернул заговаривать! Как непохожа она стала на симпатичную ту девушку, что пробежала мимо меня по коридору, не здороваясь.

## 12.

Студенческая наша столовая располагалась на пятом этаже. И чтобы не взбегать бесконечно по ступенькам, да еще опаздывали всегда,— норовили в лифт. Хотя и не поощрялось: он был грузовой, просторный лифт, набиралось туда студенческого народа, как говорится, под завязку. А обычный лифт не работал давно.

Я втиснулся, стояли тут почти впритирку. Ребята толкали девчонок, острили, девчонки били их кулачками по спинам, смеялись. В голове у меня все одно и то же: о докладах — как, кому, что предложить конкретно, не всякий ведь из них потянет.

Мы едем бесшумно, но остановились не на пятом этаже, свет помигал, погас. Но у нас такое не раз бывало, так

же двери не открывались или еще что-нибудь, если перегружен.

— Ребята, кнопку нажмите!

Зажглась спичка.

— Вызвали, не бойсь, потерпи немного.

Прошло полчаса, пожалуй, а может, и больше. Мы стоим.

— Сижу за решеткой в темнице сырой,  
Вскормленный НА ВОЛЕ орел молодой,

— начал кто-то дурашливо.

— Брось, слышь! Брось.— Мобильник...— Пробовали уже, под этой крышей не берет, черт.

— Девчонки, а давайте споем, не плакать же, а? Споем!.. Но не поддержали.

У кого-то транзистор заговорил, шум, треск, попса, дальше — жесткий, очень жесткий голос, обрывки слов, но что-то не совсем понятное.

— Да выруби, выруби ты его к черту! О чем болтает?.. Не о нас же он.

И тихо стало. Только я чувствовал рядом в темноте дыхание людей.

13.

«Уважаемая Ирина Анатольевна, получив Ваше корректирующее извещение от З/х о потреблении электроэнергии и оплате за нее и сравнивая затем Ваши данные с

квитанциями по оплате от квартирного электросчетчика, нами установлено, что...» У-у-у.

Фуу-ух. Я отодвигаюсь от стола.

Я — в большой, абсолютно голой комнате, стены ее покрашены бледно-серооливковой масляной краской, и сижу я за длинным столом на самом краю. Дальше тоже сидят, и у каждого свое порученное ему дело.

Таких столов в комнате четыре, и это похоже, скорее всего, ну не знаю, на столы в казарме или, быть может... Нет, это вовсе не тюрьма, а просто служебное помещение, куда направлен каждый по степени полезности.

Боже мой... Когда закрываю я глаза, вижу свой кабинет истории, он не в главном здании университета, а в городской усадьбе XIX века, шкафы с книгами по стенам до потолка, мраморный камин. Боже мой... Неужели не будет больше никогда. Никогда...

Народу в городе от землетрясения, нераскрытых пропаж, массовых убийств, побегов, прочее, прочее, считается (кем считается?!) стало на четверть меньше. Поэтому все квалифицированные в практическом смысле людские силы собраны, работают в промышленности, в строительстве, на цементном заводе и т. п., и т. п.

Наша же категория за столами заполняет рубрику: «Бесполезные». Однако это не означает, оказывается, что каждый не может приносить хоть какую-нибудь, но практическую пользу. Мне, например, поручено, после закрытия гуманитарных факультетов, разобраться с путаницей

в оплатах электроэнергии. Дело, разумеется, важное, и, полагают, грамотный человек распутает быстро все и тщательно.

Итак: «...установлено, что Вы просто берете средние показатели за прошлые годы и на этом основании...» Тьфу.

Я зажмуриваю снова глаза, чтобы ни за что не видеть серую эту голую комнату, а что-нибудь ну самое-самое, что ни на есть самое яркое. И вот – вот июнь. И это Крым, верхушки зеленые холмов, и на них, я помню, ярко-красные полосы, и сползали они вниз с зеленых холмов, как кровавые ручьи, эти полосы – горлицы, они затопляли все овраги внизу красными своими цветами.

Нет, я не хочу открывать глаза, я не хочу, что «установлено, что...» И позволяю себе такое не раз и не два, потому что иначе...

Но вот что интересно. Бывает вдруг глаза откроешь, а все равно: небо, и вроде ранняя осень и даже бело-зеленые, в лишайнике, очень мокрые от дождя стволы деревьев, наших бывших деревьев... Но это та же казенная комната. А потом ты понимаешь – ты видишь непонятные какие-то тени на стене от окна.

14.

Домой я возвращался поздно, обедали мы там же на службе, а вечерами готовил себе чего-нибудь попроще.

В доме у нас ни звука, ни шороха. Тишина. Брошенные квартиры не занимает никто. Боятся, верно, этого дома из-за убийства и то, что дом под надзором. И Милицу Борисовну я тоже больше не встречал, хотя, наверное, она жила теперь в квартире Паисьевиича с подпиской о невыезде.

Домой к себе я проходил мимо школы, там во дворе почему-то появилась пушка с очень длинным дулом. А на площади у неработающего фонтана я разглядел в воде старинный военный кивер с маленьким блестящим козырьком, черный с красными полосами с обеих сторон. Но это был, как видно, театральный реквизит. От заросшего седой бородой соседа своего по столу, по профессии актера, а теперь занимался он коммунальными платежами, я слышал, что его, например, театр закрыли, а что с другими неизвестно.

И все же нет, очень я не хотел переворачивать лист календаря на окне с замечательным городом Делфтом XVII века, и не переворачивал, хотя месяц был уже другой.

Нет, нет и нет. Моя жизнь... Я буду ехать, как ехал всегда в поездах, я буду свободен! И не диссертация вовсе, а я напишу об этом. Свою жизнь. Как все же повернулось что-то во мне.

А в вагоне окно приоткрыто. И мчится поезд. Вечер. Так пахнет травами, дымом костров, деревней, и река близко. Лиственницы появились вон, мелькают, мелькают вдоль полотна. А вдали пожар.

15.

Теперь я пишу все время и как-то не могу остановиться. Это не украдкой, отрываюсь просто от электроэнергетических расчетов и пишу. Ведь по вечерам сил нет, устаю. А утром голова свежая и вовсе не для канцелярии, и я даже чувствую иной раз в потоке слов какой-то явный внутренний ритм. Именно ритм.

А в электроэнергетических записях у меня уже наверняка ошибки, поэтому надо иначе.

Я снимаю часы с руки и кладу на стол. С утра, пока такой вот запал, я пишу не отрываясь. А потом что-то спотыкается, затухает, тогда и перехожу на канцелярию. Конечно, в голове начинают постепенно снова сами собой крутиться дорога, река, лес, разные такие люди, события, сколько ж я видел... На оторванных клочках из тетрадки записываю бегло несколько слов для памяти, для утра. И снова углубляюсь в канцелярскую круговерть.

Мой седобородый сосед по столу — я ж сижу с самого края — смотрит иной раз украдкой — чем занимаюсь?.. Но мне-то, чего мне бояться. Донесет? Но пока спокойно. И я продолжаю. И вокруг заняты все, у каждого свое задание. Проверяющий не ходит вдоль столов, это вам не школа, другой у них явно метод наблюдения, они видят все на экранах, конечно, которых мы не видим. Но что тут хорошо — главное — выполнения норм, пока во всяком случае, не требуют.

За этими столами почти всех я уже знаю в лицо.

К примеру, физика-теоретика, он тут единственный такой ярко-рыжий (моя слабая рыжеватость не в счет), волосы у него растрепаны, очки сползают, а глаза у него наверняка зеленые, потому что, как считается теперь, у всех рыжих глаза зеленые. В чем вовсе я не убежден. И также не убежден, что леворукие, о чем иронизирует мой седобородый сосед, — это, мол, у них все от дьявола. У нас ведь есть левши.

А еще я прекрасно знаю, что за вторым от меня столом сидит и трудится как все (кто б вы подумали?) тот самый следователь, что допрашивал нас в квартире Паисьевича. Он явно делает вид, что не знает меня, не замечает. А он похудел и как-то сник. Тоже, значит, попал за что-то — или им не нужен теперь больше — в нашу категорию «Беспольных».

Иногда для отдыха — это разрешается — выхожу в коридор, пройтись туда-обратно, размять ноги. Сегодня ко мне присоединился и мой сосед, седой, седобородый. Он идет со мной, словно в паре, не отставая (ишь живчик!..), я ускоряю шаги, я один хочу, а он не отстает.

— Послушай.— Задерживая, стискивает он мое плечо.— Я же вижу, я понимаю, что ты пишешь, ну прямо сочинение целое, а? Да не бойсь. Не боишься? Молодец! А я могу тебе помочь, потому что скоро меня тут не будет, и меня они не найдут.

Мы стоим в самом дальнем коридорном закутке. Он оглядывается быстро и начинает отцеплять приклеенные бороду и усы, а потом стаскивает седой парик.

Мне в лицо, подмигивая, улыбается молодой человек моего возраста.

16.

Кто он такой на самом деле и что значит «скоро здесь не будет» и «меня они не найдут» и в чем может мне помочь, я так и не узнал тогда. В коридоре появились — на прогулку люди, и мгновенно он снова оказался седобородым, седовласым стариком. А потом кто-то и что-то все время мешало, не удавалось пока поговорить наедине спокойно.

А между тем в доме у нас начали возникать некоторые новшества.

Вчера вечером, идя к себе в квартиру, я наткнулся вдруг на кого-то, он сидел прямо на полу у двери Паисьевича, вытянув ноги. Свет в коридоре был слабый, горела одна только лампочка там, посередине.

Но сама дверь Паисьевича за его спиной начала дергаться, его спина мешала явно открывать дверь. А когда с силой еще раз дернулась, этот кто-то повалился набок.

Из квартиры яркий свет, у порога в трениках и футболке Милица Борисовна на корточках отмывала пол. Волосы ее растрепались, лицо было красное от натуги.

— Хм,— сказала Милица и привстала, держа в руках тряпку.— Это что ж такое?

Человек по-прежнему лежал неподвижно на боку, поджав ноги.

— Стойте.— И отбросив тряпку, она пошла быстро назад, вернулась с банкой воды и изо всех сил брызнула в него водой изо рта.

Человек пошевелился и стал поднимать голову.

— Ну,— сказала Милица,— что будем делать?

— Надо бы перенести куда-то,— сказал я.

— Хорошо. Давайте, 5-ая квартира не заперта.

Я начал приподнимать его за плечи, Милица за ноги. Он оказался очень длинным.

— Нет, так не пойдет,— сказал я.— Лучше я сам.— И поднял его на руки, ноги его болтались, он был совсем легкий, невероятно худой и легкий, и плохо от него пахло. А лицо его теперь совсем близко: это был «человек затылок».

Положив его, наконец, в комнате незапертой квартиры на кровать, я посмотрел на Милицу, что стояла рядом.

— Что ж, придется подкармливать его,— сказала она.

— Придется,— я согласился.— Только...

— Что вы хотите сказать, что из ваших шишей, какие вам там плятят,— усмехнулась Милица,— не разгуляешься, да? Так я его беру на себя.

— Да вы ж не работаете.

— Как не работаю. Работаю. Только моя работа особая. Еще и вас могу подкормить.— И она с вызовом посмотрела на меня.

17.

— Они его подхватили на улице сзади какие-то двое в штатском,— рассказывал я в коридоре актеру Вите (ни свой парик, ни бороду, на всякий случай, он больше не снимал),— и потащили этого бедолагу, привезли на цементный завод, поставили золу сушить на костре. А там все такие, как он, а над ними охранники с резиновыми шлангами, отвлечешься, и сразу бьют. Остальные, хоть больные, хоть какие все равно с ведрами, носилками пудовыми, и все бегом, все бегом, остановишься — и бьют.

— Чудесно. А актеров наших с ведрами не встречал он там, а?

— Не знаю. Наверно, и ваши были.

— Ясно, ясно,— сказал Витя.— Ты вот пишешь, так ты пиши все, все это пиши.

— Знаешь,— сказал я,— он говорил еще, убежать можно, сам уполз, но ловят, а главное ведь все боятся, Витя, все боятся. А чего боятся, непонятно. Кто, говорил он, кто над ними, над этими, над всеми, кто?

Ночью я по-прежнему засыпал плохо. Это поначалу казалось, что наш дом полностью уцелел, единственный из домов переулка. Но когда поднимался ветер, в доме ночью раздавался стон. Собака выла?.. Нет, никаких собак, ни кошек поблизости больше не было. Они исчезли все, когда рушились дома. И потому понять что это, не мог. Скорей всего в стенах обозначились трещины, и это стонал, проникая, ветер.

А решительная Милица все пыталась выхаживать «человека-затылок» — он, от всего, что с ним происходило, вообще пугался неожиданных звуков.

Я же со своей стороны уступил Милице и согласился заходить поужинать с ними. Так мы хоть вместе здесь, очень уж тошно одному в пустом доме.

В воскресенье Милица собралась куда-то и предложила мне пойти с ней — будет, мол, и вам, я думаю, интересно.

Мы шли долго на западную окраину. Было очень холодно, совсем не по-осеннему холодно, и на неизвестной мне улице Юрьевской из открытых дверей маленькой церкви шел пар. Наверно, внутри там набилось очень много народу, надышено было и тепло.

На улице то и дело здесь попадались люди с колясками ручными на визжащих колесиках, они везли бидоны и канистры. Как сказала Милица, воду везут, тут сохранились еще колонки, а водопровод с перебоями.

Потом мы прошли через пустой парк. Внутри заросли крапивы между деревьями, и перед летней проломанной театральной сценой торчали столбики в ряд, на которых раньше крепились доски скамеек. А в самом центре парка был облупленный постамент, на нем черный бюст Карла Маркса.

Мы уже вышли насквозь, когда из ближнего дома выскочил низенький волосатый человек в одних трусах и заплясал, заплясал перед нами, хохоча:

— Тетя милиция! Тетя милиция! Ты тетя милиция!



— Хватит, слышишь! Раз.— И как пистолетом, Милица направила на него палец.— Два! Косинус Фи!

Человек пригнулся и сложил, умоляя, ладони, потом кинулся прочь.

Мы спускались медленно вниз по ступенькам подвала, а из темноты трепыхнула вдруг цепью собака и началось ворчанье, хриплое ворчанье, сейчас, сейчас она залает.

— Тихо! Тихо, Лорд,— сказала Милица.— Это я и мы вместе, оба.

Ворчание смолкло, но в потемках я даже не разглядел собаку.

Милица на ощупь привычно отомкнула железную дверь, внутри горел тусклый свет.

Рядами в громадном подвале вдоль стен высились античные статуи.

— Вот,— сказала Милица с гордостью, но и печально.— Он все также живой, наш музей. Ликвидированный.

18.

Аресты в городе продолжались. Разыскивали, как сказано было в развешанных повсюду объявлениях, тех, кто злобно пытается прятать, несмотря на запрет, все прежние «так называемые ценности культуры».

Ранее арестованные исчезали бесследно, а на площади у бездействующего фонтана — я ведь сам это видел! — три

дня лежала, вероятно для острастки, отрезанная голова известного всем коллекционера.

На дверях нашего дома Милица поспешно приклеила белый лист с надписью большими черными буквами «Карантин».

С помощью умельца, одного из новых жильцов (теперь уже почти во всех квартирах селились беглые), во входную дверь со двора был врезан замысловатый замок, а дверь открывалась тем, кто знал о невидимой кнопке. Нажмешь, скажешь кто, и отвечают изнутри Милица либо я, и мы с ней решаем.

В общем-то, обыкновенный домофон, но сама кнопка в дверях невидимая, и беглые передавали, как ее обнаружить только самым верным.

Поздними вечерами в одной из надежных квартир на улице Гагарина я читал свои лекции о нашей отечественной истории XVII века, подлинную историю, постепенно переходя к более близким временам, поскольку издан был и широко распространялся новый учебник, где история словно начиналась заново.

Уставал я, конечно, очень, потому что помимо канцелярской службы продолжал свои записки. И все так же, понятно, плохо засыпал.

Однажды вечером я услышал вдруг за стенкой в пустой комнате Гарика равномерный звон: били часы. Но этого совершенно быть не могло! Старинные часы на стенке, которые у его мамы оставались еще от прадеда, были сло-

маны и никто, как говорил Гарик когда-то, не брался починаить.

Однако зайти туда, в комнату моего Гарика, я до сих пор не мог решиться.

Я выскочил в коридор. Милица, Мила, как все ее уже называли, наш теперешний комендант, стояла у Гариковой двери и тоже прислушивалась. И вправду, били часы.

— Ты знаешь,— сказала она,— я же все понимаю, я тебя хорошо понимаю, ты не заходил туда ни разу, я понимаю, для тебя выше сил. Но а можно я зайду? Ты скажи мне, ты скажи. Ну ты мне скажи...

Она так близко ко мне подошла.

— Да,— сказал наконец я.— И я не буду больше называть тебя Мила, ладно, слышишь?.. Ты ведь для меня Миля. Можно?..

— Можно. Для тебя все. Для тебя все, все можно.

19.

— Этим летом, Миля ты моя, так мне было одиноко. А на дворе тепло, солнце, и, помню, иду я по асфальту вдоль кустов, лопухов нашего без решетки двора, а под ногами всюду на расстоянии друг от друга темные пятна и еще светло-коричневые маленькие камешки. Но сел на корточки и понял, что это не камешки, а просто-напросто круглые раковины улиток. Тепло стало, и все они, все на дороге уже под солнцем. Их длинные такие, коричневые

узенькие туловища выглядывали далеко наружу и у них усики шевелятся. А темные пятна — это все следы раздавленных, незамеченных ракушек.

— Ракушки?.. Ты об одиночестве, да? Ты метафорист, родной ты мой Павлуша. Я же видела, какими глазами ты смотришь на меня, особенно в последнее время. И молчал. Ты совсем не современный человек, ты во всем такой, Павлуша. Но за это, наверно, я и люблю тебя.

— А что ты, ну ты такая уж современная, да?

— Во всяком случае, может на чуточку больше. Знаешь, женщины, они почти всегда практичней.

Это один вот из наших первых разговоров, когда мы по-настоящему были уже вместе. «Скрещенье рук...» — Да лучше-то и не скажешь, чем у запрещенного ныне поэта: — «Скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье...»

Мы впервые рассказывали все друг другу, о себе, детстве, юности. И как это раньше мы были не вместе!.. Ведь и лицо у Мили — вовсе это неправда! — совсем, совсем не угловатое, волевое, да, но какие глаза у нее и какая родная ее улыбка... А молодость кончилась у нее, когда погибли и отец и мама в автобусной аварии. Но только — это говорила Миля — человек никогда не должен, нет, жалеть самого себя, именно себя, все-таки это главное. Чтобы жить дальше.

А я... Я больше не отпускал ее одну в вечерние, и каждый раз особенно рискованные выходы в город. Она знала хорошо, кто и где хранит остатки музейных фондов,

знала оставшихся еще затаившихся коллекционеров, считалась у них экспертом и читала к тому же лекции об искусстве. Это было все безвозмездно, только у самых богатых тайных коллекционеров соглашалась на гонорары. Они шли в общий котел, потому что выходявшие тайком для пропитания беглые наши приносили, в общем-то, крохи. Короче, в доме мы нельзя сказать, что мы голодали, но жили довольно скудно, понятно.

А вот часы у Гарика продолжали идти. Но это, по моему, не столь уж диковинно. Каждый хотя бы раз мог видеть или, может, слышать как что-то молчавшее вдруг оживало, и вот так воспряли часы.

Хотя, конечно, свои тайны есть и у неживых вещей.

На одной из лекций Миля, например, объясняла, в чем загадка удивительной яркости самых, казалось бы, обыденных сцен, какие целых четыре века назад, и до сих пор это прекрасно, писал автор моего Делфта. Делфта, которым я занавешивал у себя окно.

Раньше я слышал кое-что и даже читал об этом. Но Миля еще упирала на не совсем обычные свойства зеркал, какие по-особому устанавливал для освещения своей натуры художник.

Быть может, это и так. Но главное все равно не в тайне, это понятно, его зеркал. Даже при высшем даровании главное оказывалось опять-таки в силе его чувства.

20.

Между тем работа моя над записками, в общем-то, близилась к концу. У меня скопилось столько о недавних ситуациях, о запретах и совсем уж о бесчеловечных фактах, о чем рассказывали беглые, прямо на разрыв души.

Витя торопил меня: — Я, ты понял, я смогу такое передать в загранку, понял? А ты тянешь. Пусть все узнают, не тяни!..

И Миля начала на компьютере набирать уже готовые правленные черновики. Время летело так, что я и не заметил, вернее не запомнил, когда Витя, получив, наконец, рукопись, исчез.

Но зато я запомнил, как нас всех большую теперь группу «Бесполезных», художников, филологов, флейтистов даже и прочих, выстроили в зале и по одному стали вызывать на допрос. Но никто, действительно, и я в том числе, ничего не знал, каким образом и куда ему удалось уйти, скрыться.

И так же точно не могу сказать, сколько времени прошло с тех пор, как однажды в доме появился новый человек, беглый, он передал Миле книгу.

Когда я вошел в квартиру, она кинулась ко мне, целуя, обнимая меня: — Получилось! Вышла, вышла твоя книга, Павлуша, родной мой! — Какие любимые, какие сияющие, любимые глаза и какое лицо счастливое... И у меня, наверно, хотя и оглушенное, растерянное, конечно. Мы все так же стояли в дверях, обнявшись.

Потом сидели рядом и листали страницы, перебивая друг друга, нет, не изменили ничего, ни пропусков, те же абзацы, даже тире, запятые, все точно.

Книга была объемистая без всякого названия и автора, мягкая обложка, мелкий шрифт и карманного размера, чтобы легче пересылать, передавать или прятать.

— Он, кто передал, Павлуша, говорил мне, что у них там вышла большими тиражами и большим форматом. Но, чтобы тебе не повредить, псевдоним, естественно.

Я отлепил приставший изнутри обложки титульный лист, поглядел с интересом, какой они мне придумали псевдоним.

Только псевдонима там никакого не было. Стояла подлинная фамилия Вити. Теперь каждый, знали все: книга была написана Витей.

21.

— Дом, смотрите! Дом осаждают!

— Это какой? Улица какая? — И я взял быстро у нового соседа по столу, что вместо Вити, строжайше запрещенный нам видеотелефон. Экранчик был очень маленький, и все там было крохотное: мелькнувшее лицо, дым, трасирующие пули, люди в бронежилетах, бегущие влево, вправо.

Только бы не наш... Нет, дом другой, нет, не двухэтажный, выше! А только чувствовал я уже, я понимал...

— Немедленно отдайте! — Надо мной, откуда непонятно, появился неизвестный человек и протянул к телефону руку.

Но я так быстро выбрался из стола, что он не успел вырвать телефон. Тогда второй, такой же человек, вот она охрана, кинулся ко мне.

И тут стол внезапно сдвинулся и покачнулся — мои соседи вскочили тоже, во все стороны полетели бумаги, бумажки, счета.

Затиснутые беспорядочной нашей толпой, у этих двоих в руках были уже пистолеты, и сразу ударил выстрел. Но пуля ушла вбок, вверх, и их обоих повалили на пол, выкручивая, выбивая пистолеты.

Маленький телефон дрожал у меня в руках, я больше не различал ничего.

— У меня камера, видеокамера! — Это мне рыжий. Господи, как он смог даже камеру пронести.— Смотри! Увидишь! Тебе ответят.

— Павлуша! Павлуша! Павлу...— услышал я, наконец, и увидел Милю. Миля!

И ясно увидел свой дом. Стекла были всюду выбиты, но календарь еще висел.

— Пав-лу-ша...

— Миля! — крикнул я и что было сил побежал вперед. Дверь!.. Найти дверь! Выход отсюда. Выход, скорей!

За мной вслед побежали все, а над нами яростно завывала сирена. Тревога. Сейчас перехватят...

Толкаясь на бегу ладонями в стенки, я искал, щупал, задыхаясь, неразличимые, замаскированные двери. Миля... Они бесконечны, какие бесконечные коридоры справа, влево.

Со мной рядом был рыжий с камерой, на экране дым, залпы, а за нашей крышей явно полыхали пожары.

— Дом пустой! Слышишь! — крикнул рыжий.— Я вижу теперь, там пусто, они ушли!

И тут я нащупал в стенке бугор, потянул его резко в сторону, и стали медленно раздвигаться двери.

Но с обеих сторон, с силой оттолкнув рыжего, меня схватили под руки, сдавили — охрана,— оттаскивая назад.

Только я уже увидел.

Это была совсем не наша улица, не было окна с картиной и города старинного с картины. Не та дверь!..

Это же просто наш Юго-Восточный поселок. Совсем не та дверь...

И спокойно там еще, не дошло до них?!..

Впереди, в зелени стояли белые дома, не слишком высокие. И не разрушено ничего.

Но только это не наш город. Явно другой... Подальше там, за нашей, вроде, оградой.

Слева к белым домам подходили заросли густых деревьев. Из зарослей вышел маленький олень, подросток. Он пошел по асфальтовому тротуару вдоль домов. И сразу из зарослей вслед выскочила его мамаша и пошла за ним. А потом вышел и отец с ветвистыми рогами.

Я почувствовал, что меня перестали держать, сдавливать. Все смотрели молча, как друг за другом вдоль домов идут по тротуару.

— Миля, да где же ты? — прошептал я.— Там олени.

2009

Повязка. Почему так ясно: она черная. Хотя не видел вообще как надели, как незаметно. И прилегает очень плотно к лицу, плотно, глаза открыть нельзя. Только не жесткая, совсем не жесткая, толстая, мягкая, жаркая, даже потно. А какой день был хороший, суббота, шли лесом, лето, прогулка, все близкие, места знакомые. Впереди поляна большая, на ней толпа. Какие-то люди перемещаются, натываются, огибают, обходят, но все по кругу, все по кругу.

Мы вошли, вернее, оказались, мы в середине уже и сразу — тьма. Повязка. Деревья, солнце и — тьма. Дочка, жена, остальные?.. Где, где?!.. Когда вытягиваешь руки, то чужое: плечи, рубашки этих впереди, сбоку идущих людей. Но у них как будто — вспомни, точно, — у них не было повязок, а как слепые все равно, и все по кругу. В спину толкают. Куда? Когда не видишь ничего, звуки резче, шевеленья, вздохи толпы. Нужно только понять. Главное, двигаться с ними дальше, а то собою. Это не танец явно, вперемешку, хаос. Нога во что-то попадает, ведро? но не жестяное, не глубокое. Похоже, похоже шляпа. Такая шляпа — туля плоская, и круглые, очень большие поля. Бориса шляпа. Пижон, мальчишка, жи-во-писец, до плеч из-под полей бурные кудри. Нога... Еле, чуть не упал, вытащил ногу. Где вы? Дочка, жена, Борис, Роберт-«Роб»?.. Нет. Лишь по траве шуршанье подошв. А если крикнуть,

позвать?! Почему не получается крикнуть?.. Раньше слышал: когда операция и слепые глаза, то вдруг видишь линии, красные, синие, а то квадратики, красные, синие. Но когда здоровые, когда закрыты плотно глаза, то появляются, ведь появляются иногда даже вроде живые, так сказать, перед тобой картины, пропадают опять, туман, и другое что-то. Коридор вижу вот, комната будто знакомая, только она пустая, двери распахнуты и никого, ничего, один в пыли абажур висит. Так они умерли оба давным-давно... Мы живем на пятом этаже, мы все соседи: Борис, Роб в квартирах соседских. Мальчишки. Робу двадцать, Борису, правда, больше, и все за Владой, моей дочкой ходят. Когда переехали сюда, лес вообще был рядом, и тут же, точно: «Явились мошки на людях по всей земле...» И — в глаза, они кусали в нос, в уши. Под абажуром у зажженной лампы вечерами зудели, кружились, бабочки бились крыльями, обожженные падали вниз. А потом стало все меньше, меньше, и нет уже их — удалялся лес, срубили, спилили деревья неподалеку, утрамбовали площадку, вбили два столба...

Кто, кто мою шляпу сбил?! Что за люди! Как стадо. Волосы прямо в лицо, и так ни фи́га не видно. Ну, что делать будем, дорогой Боря?.. А? Стоп. Стоп! Кажется, я что-то вижу! Сквозь повязку. Да! Чудо... А читал где-то: мозг видит без глаз. Это как? Но я вижу, или сдвинулась, не так плотно повязка? Под ногами уже грязь, лужи, на-

топтали, и ямы. А все так же идем вкруговую. Может, они так всегда идут? Сплошь видны края штанин разных, а то почти одинаковых, ботинки, а то босые ноги шлепают, женские туфли вон на каблуках, не Владины туфли. Похожие туфли были у... Но туфель похожих сотни. Сотни. А главное, ноги совсем другие...

Ой, не могу больше, юбка какая жаркая и правый каблук кривит, отрывается!.. А как противно, запах такой едкий мужского пота, толкотня, и туман в глазах. Что, помочь хотела?.. Но она ж умирала, Оля, а он не пришел! Солидный, семья, дети взрослые, трус! а она так его любила, звала его, сколько они тайком, а теперь испугался, узнают все, но она ж умирала, а он не пришел! Я единственная, я хотела поэтому. Чтоб он пришел, я просто поэтому. Я ж единственная подруга...

Но все же, неужели там бабочка осталась, внизу в занавеске? Запуталась? Когда ты в комнате один, и тишина, все время прерывистый шелест крыльев, бьется. Но какая бабочка, это ведь не летом, зима. Почему в памяти неизвестно что. Идешь, все идешь, и словно укачивает тебя. Всегда сторонился толпы, а ты в толпе, словно течение, и повязка. Видишь только одни лишь собственные свои «картины»: Влада, дочка прошла через комнату, тоненькая, светлая она, в легких брючках до колен. А как хочется увидеть ту, любимую. Когда был так молод...

Какой была когда-то. Нет. Все зыбкое, лица исчезают. А тело в каких-то тонких иголках со всех сторон. Это что? Или тоже застряло в памяти, но совсем уже дальнее: особый душ, металлическое у него круглое пространство и, кажется, в металлических перепонках, откуда со всех сторон, как стальные иглы била вода. Но теперь вроде не вода, а именно иглы со всех сторон, но не больно. А, может, это самый без боли выход со всем покончить. Навсегда: как кукла тряпичная бескостная, протыканная иглками острыми со всех сторон. Потому что всю жизнь так помнить ее...— Да кто вцепляется?! Вцепился, это кто?..

— Это я, я Роберт, Роб, меня толкают, где вы? Не уходите!

Оттолкнули, чужие. Где теперь Владин отец? или он позади, ничего не вижу. Глаза... Значит, меня поймали, в чем? Но я-то нормальный, я взрослый, я же взрослый уже человек, разве я мог даже конкретно представить, что я смогу... Нет, дело, наверно, в чертовых снах и еще. Я ходил вчера, да, сдавать кровь донорскую, какой-то человек сидел в углу, это он сказал: «добренькие? а теперь по группам крови можно четко определять, что за душой у тебя». Бред! Вранье! Я же только думал, только думал, как если бы... Отпустите меня, слышите! я не виноват! У меня вторая группа, хорошая! Вторая группа крови, слышите! А-а, яма... Я в яме! Руку! Дайте руку! Помогите, я не виноват. Я не сделал ничего этого! Помогите, на голову мне ногами! За что вы по мне ногами?! А-а...

Но всё, Боря, уже позади, всё это позади. «Роберт»... Имя какое, а какой слизняк. Поганец, поганец. Я же понимал всегда по его глазам, как хочет он ... Да слабак, да он вообще непригоден ни за что для жизни. Нежненький, смазливенький, они непригодны и погибают все равно! Может, и не все, правда, может, и замечательные были люди, но у кого талант, не внешне, а талант или хоть что-то, и как-то прожили, жили без кожи, как говорится. А у него нет. Нет! Меч-та-ния. А силы никакой. Даже сны его дурацкие или тоже придумывал? Как живой ему скелет снился, говорил, ходил, голый череп, пустые глазницы, ребра. Идиот. Идиот. Упал, яма там, чуть не с головой, что ли, в слякоти. И сам-то я споткнулся, наступил. Но нечаяно! Нет, нечаяно!.. Наступил на голову ногой...

— Дочка? Слава Богу! Наощупь, дочка — ты?

— Я.

— Мы остановились, слава Богу. Что происходит?

— Передали, человек какой-то, пожилой, ударил женщину, кричал: «Чего мешалась, вся жизнь сломана!» Слышал? Кричал, или не слышал? У ней каблук отлетел, упала и...

— И что?

— Да не знаю я. У меня повязки больше нет, я свободна. Я ухожу, папочка. Как вы меня оба в детстве мучили, забыл? Но я-то не забуду, все мое детство тяжелое. Все. Теперь своя у меня жизнь. Моя, понял, па-поч-ка? Я ухожу, а вы как хотите...

Когда, отчего не понял, остановилось движение, так эти все новенькие, у которых были повязки, а теперь нет, стали сразу отходить. Это им, чтобы идти с нами вместе, нужны были им повязки. Даже слышал, говорили, кто им надевал, чтобы быть как мы. А мы, мы по-прежнему шли все вместе. Когда в толпе, то вместе, и запахи просто человеческие, боязно не чувствовать хоть кого-нибудь близко, и этот туман в глазах. Мы шли, шли по-прежнему гурьбой. А потом уже и тумана не было, остановились тоже, но куда?! куда?.. тоже принялись расходиться. И я остался один. Стоял под деревом, ракета была, хотя не очень я разбираюсь в деревьях, пустырь впереди, лужи, место незнакомое, где лес? Стоял, все стоял теперь, куда податься?.. Один. Не могу я один! И идти куда сейчас? Как? А вон там люди. И сюда идет кто-то, ну скорей, ты, скорей! Ох, Господи, как хорошо. Но кто это?.. Но он же умер, я слышал, он умер на поселеньи, да... Чур меня, чур! не подходи! Я же не мог никак, друг мой, друг, тебя защитить, тогда боялись все и я... я не мог... Боже мой, это не он. Боже мой, это Боря! — Боря, здравствуйте, Борис!..

Что за тип, да что ты от меня хотел?! И не знал его никогда! Бормочет, за руки хватает, сосед, мол, у нас во дворе говорили, картины ваши по телевизору смотрел, так нравится, очень, очень нравится. Тьфу. А противный какой. Какой плюгавый старичок, и костюм этот черный летом, галстук, чиновник, верно, был мелкий. А лица,



ну никакого нет, только бороденка «цивильная». Ф-фух. И вместе хочет, идти вместе, «друзья», не отпускает. Еле свои руки у него вырвал: вам вон туда, вон туда, а мне туда. И шел потом быстро, и не оглядывался, еще потрусит за мной, догонит... А я-то гада этого искал, кто Юлю ударил, сволочь, Юлю, она упала и — все... Я, конечно, ну не больше, несколько раз, так, жил с ней. Но хорошая тетка, жалко, Юлия. А какой гад, сволочь, она ж не за себя хотела! Не за себя. Найти его только. Убежал?.. Вот и пустошь кончилась, и слякоть эта, опять кусты, деревья, перелесок, избы, все крапивою заросло, деревня. И треск какой-то слышен. Он спиной ко мне стоял, толстый, в клетчатых длинных шортах, футболке, ноги волосатые, не видел, что подхожу, и отдирает топором, поддевая, забитое досками крест-накрест окно. Купил раньше пустую избу, наверно, а теперь прогнала семья или сам пока сюда. Убийца просто. Отодрал одну доску, пот вытирает рукавом, не видит, не слышит, кто стоит в десяти шагах. Да?.. Не слышит. А никто вообще ничего не слышит. И не видит вообще... Медленно, чтобы не хрустнуло под ногами, тихо поворачиваюсь, ухожу...

Чужие такие руки обняли меня сзади, я аж вскрикнула, а он повернул к себе. Борис. Так близко, так никогда... Пухлое лицо его, кудри, и его нос, и эти мясистые губы близко так... А глаза. Они глядят, требуя: скажи, наконец, скажи, я тебе не сопляк, мальчишка, скажи! Я-то люблю

тебя, я... «Люблю»? И изо всех сил я вырвалась и оттолкнула сразу. Ишь ты, это ты что ли принц, кого девчонки себе представляют дуры?! Губы подбери. «Не сопляк». А это только считается хорошо, когда тебя старше, но так хорошо это, когда нравится. Сильный. А если опять, как мамина-папина дочка слушать: надо делать так или делать вот так, о-пы-т. Пошел к черту. У меня жизнь впереди. Моя. Колледж сейчас закончу, с подружками пока в общежитии, не выгонят, поживу, а работу... Работу найду! Теперь и начальники, кто с головой, не намного старше. Да. А он все стоит, этот. И чего стоишь? Чего смотришь? Я же прямо дала понять!

— Стою. И что. А куда пойдешь, дурочка. Почем лихо знаешь? Потому что чего стоит человек не по внешности смазливой определяют, да. А я тебя люблю и сделаю все, чтобы было тебе хорошо в жизни. Я самостоятельный человек, понимаешь? Выставки, заказы и прочее, прочее. Я все сделаю, все.

— Слушай, ты Роба не видел?

— Я?.. Нет.

— А мы все вместе были, слушай, все время. Слушай, давай мы поищем, а.

— Поищем?.. Ну, хорошо. Дай руку. Я представляю где мы. Возьми под руку меня. Так. Идем сюда.

«Сюда»?.. Он что точно знает где мы? Ишь ты, знает, точно. Посмотрим. Иду. Держу под руку его и иду, стараюсь в ногу, хотя сбиваюсь, но опять иду рядом. Только не

отставать, рядом, не отставать. А какие крепкие у него руки, какие мужские у него такие крепкие руки...

Я спиной стоял к нему, конечно, но чувствовал, как подошел, как остановился невдалеке. Смотрит. Тихо, на цыпочках прямо подошел.

И только когда уходить стал, я обернулся и узнал его, Боря. Хотя видел мельком всего один раз с этой проклятой Юлькой, любовник ее был, что ли. А мне сказали, что произошло с ним. С ним... Не с ним! Теперь, если б спросил, зачем, мол, я ударил ее, а я ему: а вы? Что вы?.. Нет, нет, вообще никакого прямого убийства нигде не было. Ничего логического не было. Начисто. Ничего. Ясно?

Значит, уходишь. Уходи, уходи. Как ты еще выберешься отсюда. Что за чертово место, и сам плутал тут, а казалось, ну знаю прекрасно, где деревня, эта изба. А подишь ты. Сюда подойти ну никак не мог, все в крапиве по плечи, и натыкался все не на эту, на развалюхи, черт их побери, развалины. Просто после всего, конечно, голова кругом. Наконец на спине лежу, в избе на широкой лавке. Полутьма — только на одном окне отодрал доски, не было сил. Такой ты «спортивный дядя», толстяк... В общем, всё. Кончилось всё, и всё надо опять сначала. Сколько лет без угла, и уже тридцать было, а потом семья моя! свой дом, дети, хорошо всё, годы! Проклятая Юлька влезла, зачем?! Разве мог я идти туда, на похороны Оли?.. Спать как хочется, лавка без матраца, да все равно... А дверь на-

стежь, и входит он, и в руке у него лом короткий — монтировка! Вернулся?! Ах ты!.. И прыжком, опрокидываю с маху стол на него, и стол в него рушится. Но я не в избе почему-то, он гонится за мной, близко! Так это... Это уже сон, и я во сне понимаю, что это сон, и его вижу во сне. Но какой отчетливый сон. Не проснешься. И уже в какой-то непонятной клетке, позади стена, и этот стоит перед решеткой передо мной, сейчас ворвется с ломом... Быстро нагибаюсь, в обеих кулаках у меня песок из кучи под ногами. Войди только! Я тебе брошу в глаза песок, и ты ослепнешь сразу, навсегда. А он стоит, не двигается, смотрит. Какой он жалкий. И я выбрасываю песок на землю: ты не сможешь второй раз. И я слышу, как я хохочу во сне. Хохочу! Я отчетливо слышу свой хохот...

А мы все идем через лес. Почему кажется мне, что она со мною, рядом, дочка. Минуту всего назад звонила жена (это в кармане у меня заработал сотовый телефон, наконец): — Где ты? Я уже дома. Где вы оба? (это жена) Где ты? Не знаю. Я все иду через лес. Дочка моя не вернулась ко мне. Разве перед ней я был виноват? Все неправда про «тяжелое детство». Какое же оно было «тяжелое». Неправда. Просто так кажется мне очень ясно, и, может, не только мне, вся наша жизнь — словно она из цепочки самых разных жизней. И в каждой такой разной жизни поступаешь иногда, бывает, точно — ты это не ты. Я слышал у приятеля как-то запись (все к тому) собственного

голоса своего в магнитофоне. Это был не мой голос. Совсем другого человека. Конечно, в записи, говорят, меняется, но главное, нет, мне кажется, в другом. Почему-то ощущаешь яснее вдруг твою подлинную интонацию, не так заметную раньше. Когда ты фальшивишь, когда ты груб, слышно резче. Если таким голосом и с маленькой дочкой. В общем, понимаешь больше, кто ты такой. Я иду через лес, а все идет жизнь. Мне было ровно двадцать, как Робу сейчас, это было так давно. Я и мой друг вечером провожали нашу девушку, мы не признавались еще ей, и, может, вот сейчас это будет. «Я провожу», — сказал он, не глядя на меня, и взял ее за руку. Что я должен был делать?.. Вот скажите мне сейчас, что я должен был делать? Ну что тут такого, если провожаем, как всегда, и в следующий раз я буду. Но следующего раза уже не было никогда. Они поженились через год и уехали в другой город. Я люблю ее всю свою жизнь. Но понимать ясно стал только потом. Это правда, что самый главный, истинный признак, если отвечаешь всегда, за то, что содеяно тобой. Через восемь лет, когда моя дочка родилась, я согласился: ну пусть будет и у меня семья, расписались. А я получил открытку без подписи, без обратного адреса: «Желаю счастья жизни. Виновата». Я давно знаю, узнал, что он ее бросил скоро, и что оба они умерли давным-давно. Почему шли все по кругу? Но теперь я иду один. Я узнал тогда ее адрес, но разве можно оставить дочку в располовиненной семье?.. И я не поехал, я-то, поверьте,

не виноват. А я...я люблю ее, и кажется мне иногда — нет, это не мистика никакая и не фантазии,— что слышу я такой знакомый ее голос: — Родной мой! — Ее любимый голос: — Родной ты мой... Уже под вечер, поздно, я вошел в угловой наш магазин продуктов. Народу не было в такой час. И за прилавком, в том месте, где пошире, толпились знакомые продавщицы, глядели, как разучивают бальный танец две девушки из гастрономического отдела. Армянскую девушку зовут Медея, а вторую Наташа.

2008

*И пусть не упоминал он никогда впрямую о жизненном своем кредо, заявленном еще в начале жизни, в 1919 году. Но он ведь держался, по существу, всегда – иначе не был бы он тем, кем он был, – вот этого художнического кредо. Оставался до конца не «чучелом орла». А сколько каждый помнит «чучельных» примеров.*

*Из работы «Искусство и ответственность» (1919 г., Невель. Публикация Ю. Гельперина):*

*«Три области человеческой культуры – наука, искусство и жизнь – обретают единство только в личности <...> Но связь эта может стать механической, внешней.*

*Увы, чаще всего это так и бывает. Художник и человек наивно, чаще всего механически соединены в одной личности. Человек уходит в творчество на время из «житейского волнения», как в другой мир «вдохновения, звуков сладких и молитв» <...>*

*Что же гарантирует внутреннюю связь элементов личности? Только единство ответственности.*

*За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью <...> Но с ответственностью связана и вина.*

*Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата и его поэзия, а как «человек жизни» он пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов.*

*Личность должна стать сплошь ОТВЕТСТВЕННОЙ <...>*

*Искусство и жизнь не одно, но должно стать во мне единым, в единстве моей ответственности».*

## Содержание

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Город Делфт . . . . .        | 5   |
| Время жалеть . . . . .       | 46  |
| Снежный заряд . . . . .      | 58  |
| Угар . . . . .               | 111 |
| Наискосок . . . . .          | 176 |
| Помогите! . . . . .          | 190 |
| Жизнь Губана . . . . .       | 197 |
| «Отойди от зла...» . . . . . | 362 |

*Литературно-художественное издание*

Крупник Илья Наумович

## **ВРЕМЯ ЖАЛЕТЬ**

Сочинения разных лет

*В авторской редакции*

Ведущий редактор *Н. В. Комарова*

Дизайн: *А. Б. Архутик*

Корректор *О. В. Круподер*

Подписано с готовых диапозитивов 24.07.2010 г.

Формат 60×70/16. Гарнитура «NewBaskervilleС».

Печ. л. 25,0. Тираж 1000 экз.

**ООО «Издательство «Этерна»**

115477, г. Москва, Кантемировская ул., д. 59а

Тел./факс 755-81-23

E-mail: [info@eterna-izdat.ru](mailto:info@eterna-izdat.ru)

[www.eterna-izdat.ru](http://www.eterna-izdat.ru)